

УДК 821.133.1-94
ББК 84(4Фра)-44
Б24

Élisabeth Barillé
UN AMOUR A L'AUBE

© Editions Grasset & Fasquelle, 2014

Перевод с французского Аси Петровой

Художественное оформление Марии Коняевой

Фотография на обложке: M.C. Наппельбаум

Барийе, Элизабет.

Б24 Ахматова и Модильяни. Предчувствие любви / Элизабет Барийе ; [пер. с фр. А. Петровой]. – Москва : Эксмо, 2019. – 192 с.

ISBN 978-5-699-98171-7

Париж, 1910 год. Кафе на Монмартре. Здесь собирались и горячо спорили об искусстве те, кто потом составит славу мировой литературы и живописи.

Здесь впервые встретились юная Анна Ахматова и Амедео Модильяни.

Здесь начался их роман.

Роман необычных людей – она красавица с гордым профилем, которая не сомневается, что станет известным поэтом. Он – молодой, порывистый художник, чья жизнь уже отдана искусству.

Волнующая история любви двух гениальных личностей. Возможно, не все детали достоверны. Но как же хочется верить, что все это было на самом деле.

«Не говорить о любви с тем, кто ее дарит, – идеальная тактика для того, кто боится разочарований».

Элизабет Барийе

УДК 821.133.1-94

ББК 84(4Фра)-44

© Ася Петрова, перевод на русский язык, 2019

© Издание на русском языке, оформление.

ISBN 978-5-699-98171-7

ООО «Издательство «Эксмо», 2019

...все, что происходило, было
для нас обоих предысторией нашей жизни:
его — очень короткой, моей — очень длинной.
Дыхание искусства еще не обуглило,
не преобразило эти два существования,
это должен был быть светлый,
легкий, предрассветный час.

Анна Ахматова

То, что я любил, сохранил я это в себе или
нет, я буду любить всегда.

Андре Бретон

Узнавание



олова женщины, известняк, 64 см, выполнена примерно в 1910–1912 годы.

Подпись: Модильяни. Аукционный дом

«Кристис» зарегистрировал лот под номером 24 для парижских торгов 14 июня 2010 года, начальная цена — шесть миллионов евро. Модильяни ушел из жизни в тридцать шесть лет и оставил после себя только двадцать семь скульптур. Семнадцать из них хранятся в лучших музеях мира¹. Десять скульптур по-прежнему пребывают в частных коллекциях. Произведение, представленное на аукционе, с 1927 года принадлежит Гастону Леви, основателю супермаркетов Monoprix, и выставляется впервые.

¹ Фонд Барнса в Мерионе, штат Пенсильвания, музей Соломона Гуттенхайма и Нью-Йоркский музей современного искусства, Художественный музей Филадельфии, Институт искусств Миннеаполиса, Музей искусств Фогга Гарвардского университета, галерея Тейт в Лондоне, Государственный художественный музей Карлсруэ в Германии, Национальная галерея Австралии в Канберре, Национальный центр искусства и культуры имени Жоржа Помпиду в Париже, Музей современного искусства метрополии Лилля в парке Вильнёв-д'Аск. — Прим. авт.

Появление в зале этой удивительной скульптуры лишает присутствующих дара речи. И действительно — какими словами встречать великое творенье? Как выразить свое отношение к его присутствию — неизбежному и случайному? «Инопланетянин, сфинкс и Богородица в одном лице», — сказал бы Бодлер нашего времени. Есть ли в зале хоть один Бодлер? Хоть один искатель вдохновения, поклонник невозможного и прекрасного? Или все сидящие на неудобных стульях — сплошные счетоводы, занятые оценкой в евро, в долларах, в фунтах, в швейцарских франках, в иенах, в юанях, в долларах США и Гонконга возможной прибыли, смысла вложения и целесообразности исполнения желания?

Начинаются торги, а в зале давящая тишина словно опутывает всех присутствующих, не дает вздохнуть. И с чем она связана — непонятно. Покупатели бледнеют, калькуляторы в их руках трясутся, пытаясь оценить бесценное. Некоторые, повесив нос, разочарованно капитулируют. Они думают — за их спинами невероятный везунчик, судьбоносный победитель. В лучшем мире он сможет построить на выигранную сумму целую больницу: 43 180 000 без налогов. Самые потрясающие торги во Франции, во всяком случае, что касается произведения искусства.

Я не была свидетельницей происходившего в зале, но как-то раз недавно я была у терапевта, а он на журнальном столике держал каталоги

аукционов — наверное, считал, что это придает лоску, так вот, я прочитала на обложке одного из каталогов фразу, которая меня заворожила: «Всё — тайна».

Потому что я узнаю этот лоб, шею, профиль, я узнаю единственную и неповторимую женщину из плоти и крови. Эта женщина обладает теплом, жизнью, историей, чья сила, как и у Модильяни, во многом выросла из трагедии. Я вдруг вспоминаю имя времен своей молодости, имя на кириллице, имя из русских и советских книг, привезенное во Францию издалека. В ту эпоху разница между людьми могла воздвигнуть стену. В нашей семье сложилось иначе. Белая Россия моего дедушки, сосланного во Францию в 1920 году, делила одну крышу с советской, красной Россией, где та, которую мой дедушка имел безумство в 1963-м вывезти во Францию, чтобы жениться по православному обычанию, прожила пятьдесят лет. Маленькая Женя. Ребенок, родившийся при Николае II, юница при Ленине, зрелая женщина при Сталине и Хрущеве. Судьба подчинилась Истории, и, чтобы хоть как-то вписать ее в западную жизнь, понадобились чемоданы, тюки, набитые книгами, дорогими гравюрами, великими сочинениями, которые перетаскивали на своих плечах закаленные советские граждане.

Оригинальное звучание этой фамилии казалось мне не очень русским, скорее татарским;

оно ассоциировалось у меня с дюнами, с пустыней, особенно когда я вслух его произносила.

Ахматова.

Ее имя даже не значилось в каталоге. И тем не менее его нельзя было произносить отдельно от имени скульптора, который мечтал стать великим и чьи работы выставлялись в Париже осенью 1912 года. Эксперт по продажам считал, впрочем, что высокомерная матрона, будто стоящая лицом к ветру, плод большого воображения художника. Автор каталога называет женщину дубликатом Нефертити. Могла ли я оспорить это клише?

Я решилась на это лишь 14 июля 2010 года, не в Париже, а в Санкт-Петербурге, точнее на Фонтанке, в Доме-музее Ахматовой. Надо же, столько раз побывать в России и ни разу до нее не добраться, думала я. Я шла по гранитной набережной, сверкавшей под каплями дождя; воспоминания смешивались с упреками: прекрасные книги в переплете, восторженный ребенок, затихший перед неведомыми страницами и странами, лицеистка, влюбленная в русский язык, потому что — так надо и она этого хочет. Я представляла двуязычное издание, купленное на улице дез Эколь, «Поэты Серебряного века» — неожиданный всплеск новых голосов в России 1900-х. Стихотворения Гумилева, ученые, загадочные; напряженный тембр Мандельштама; юношеские дерзкие стихи Ахматовой, ее горделивые элегии

зрелого возраста. Анна-голубка, Ахматова-орлица. Героическая Анна Ахматова. Вспоминаю о ее горестях запрещенной поэтессы-затворницы, о ее материнских муках, о ее едкой иронии, о ее красоте, удивительной, одухотворенной красоте, перед которой недостатки — и кривой нос, и чесчур длинная шея — казались ничтожными. Высокомерная красота, дарованная свыше, великая красота, побеждающая всякую дисгармонию, — часть судьбы.

Квартиру Ахматовой на Фонтанке, в крыле Шереметьевского дворца, видно издалека благодаря гигантской фотографии Анны в платье в цветочек и с темным воротничком — на самом деле эта квартира никогда не принадлежала поэтессе. Советские власти предоставили жилье третьему мужу Анны — искусствоведу Николаю Пунину. Когда на заре отношений Анны и Николая весной 1925 года поэтесса въехала в квартиру, ей пришлось делить жилплощадь с бывшей женой и дочерью Пунина, которые занимали соседнюю комнату. Тогда Анна и не подозревала о том, что вынужденное соседство окажется более чем долгосрочным: после разрыва с Пунином Анне было некуда идти в городе по имени Ленинград, прежняя его семья тоже съезжать не собиралась. В 1989 году, когда отмечали столетие Ахматовой, коммуналку превратили в музей, целиком и полностью посвященный поэтессе. Культовое место, подумала я, проходя по двору.

Я более или менее представляю себе, чего ждать: отполированного паркета, рукописей под стеклом и разных сентиментальных побрякушек, напоминающих нам о том, что вещи переживают людей. При входе мой взгляд не останавливается на вешалке со старым пальто и двумя несчастными ветхими шляпками, но не может оторваться от массивного телефонного аппарата, который Анна Андреевна, без сомнений, караулила день и ночь в надежде получить новости о сыне, заключенном ГУЛАГа, и лишь только раздавался звонок, она, едва сдерживая слезы, хваталась за трубку и вслушивалась в чей-нибудь враждебный голос.

Можно сфотографировать? Я купила правильный билет? Он годится для съемки? Нет, с ним разрешен только вход. В таком случае придется оставить камеру на дне сумки.

Круглый столик на высокой ножке, граммофон, плюшевый мишка, чернильница с высокими чернилами, шаль с бахромой, секретер, набитый личными письмами. Я бродила из комнаты в комнату, от одного объекта к другому, и мысли мои не стоят на месте. Тщеславие бытия, бессмысленная вечность предметов, прекратившаяся вибрация переписки.

И вдруг — рисунок.

Вблизи видно, что копия.

Модильяни, и никто другой.

Портрет Ахматовой, выполненный знамени-

тым художником. О какой связи между Анной и Амедео он свидетельствует?

Я подошла еще ближе. Развевающиеся пряди, легкие, мягкие, как у ребенка, грациозно изогнутая шея — это изображение друга или возлюбленной?

Я должна это сфотографировать! Непременно! И, делая запретный кадр, понимаю, что во мне что-то произошло. Что именно? Не знаю. И не знаю, какая тайна снисходит на тишину зала аукционного дома в Париже на улице Матиньон.

Я закрываю каталог и чувствую шелковистое прикосновение загадочной страницы жизни. Увы, мне не хватает наглости, чтобы тихонько спрятать каталог в сумку. Я прикладываю ладони к щекам: они пылают. Затем слышу свое имя. Вскакиваю с места, люди тут же обращают на меня взоры, а мне хочется выкрикнуть: моя новая книга только что родилась!

Встреча

*D*вадцать первое января 1910 года, стрелки парижских часов останавливаются на 23:55. Парижане выходят из театров, баров и домов, куда им не следовало наведываться, начинают иронизировать над современными условиями жизни и так называемым комфортом. В домах еще горит свет. Вскоре их обитатели облачатся во фланелевые пижамы и уснут, не подозревая о наводнении, которое остановило работу завода по производству сжатого воздуха на набережной Панар-Левассёр. Невозможно представить себе изумление горожан, проснувшихся в окружении воды. Париж внезапно превратился в Венецию, правда, без гондол, зато с моторными лодками Berton, каждая на двенадцать человек. На всех лодок не хватает, депутаты как-то добираются до своих Палат, не намочив штаны, а вот беднякам приходится шнырять по пояс в грязной воде.

Вода прибывает каждый день, эвакуируют больных из Питье-Сальпетриер, заключенных Консьержери, но не жителей Ботанического

сада; жираф обречен на смерть. Из двуногих за тридцать дней пала лишь одна жертва — молодой капрал, которого унесло течением, когда он спасал на своих плечах телеграфиста.

Работы по очистке улиц и подвалов делятся неделями.

Второго мая 1910 года, когда Анна Андреевна Гумилева — фамилия поэтессы с 25 апреля, — стучала каблучками, выходит на платформу Восточного вокзала, электричество восстановлено еще не всюду.

Потоп что-то уничтожил, сложно сказать что. Может, невинность, бездумную веру в прогресс. Парижане теперь глядят на Сену с содроганием, особенно когда над мостами собираются тучи: а вдруг комета Галлея станет причиной местного конца света? Ее ожидают в середине месяца. «Видевший Галлею не увидит жизни», — гласит пословица. С кометой связан целый ворох дурных предсказаний — и первое из них подтверждается падением Иерусалима в 70 году н.э. Какого еще бедствия ждать? Грозят ли чем-нибудь проливные дожди с громом и молнией, начавшиеся еще в конце марта? Газета «Ле Пети Паризьен» ничуть не стремится успокоить граждан: по всей видимости, приближается очередное наводнение?

Париж серый и мрачный. Водостоки начеку. Чудесный май начинается чудовищно.

Слышит ли молодая русская, как стучит по стеклянной крыше вокзала длинноволосый